Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб.: «Норинт», 1998.

С. 292—300.

«Никогда мы не говорили между собою на языке любви»

Слезы Екатерины — это не обычные слезы невесты, прощавшейся с беззаботной девичьей жизнью. Здесь иное: мечты о предназначенном ей принце, которого она готова была любить, быстро разбились вдребезги. Принц-то был, но любить его было невозможно, она не могла отдать ему свое сердце — он в этом не нуждался, он этого даже не понял бы, потому что, несмотря на свои семнадцать лет, оставался ребенком, к тому же капризным и невоспитанным…

Для этого были свои причины. Карл Петер Ульрих — сын старшей дочери Петра Великого Анны и герцога Голштинского Карла Фридриха — родился в Киле в феврале 1728 года. Вскоре двадцатилетняя мать его умерла от скоротечной чахотки, а отец ребенком не занимался, препоручив его воспитателю. Им стал уже упоминавшийся выше граф Оттон Брюммер. Хуже воспитателя для юного принца трудно было и придумать: он издевался над мальчиком, бил его, мало чему учил.

Отец — личность вполне ничтожная — повлиял на сына только в одном смысле: приучил его с ранних лет к шагистике, муштре, которые буквально впитались в мальчика и — ирония судьбы! — стали проклятием всех последующих Романовых, терявших голову при виде плаца, вытянутых носков и ружейных приемов. Впрочем, в ту пору было принято поручать воспитание принцев простым офицерам, а то и солдатам, всю жизнь тянувшим армейскую лямку и, как казалось, знавшим секрет изготовления из хилых и изнеженных няньками недорослей великих полководцев. Так что голштинские офицеры, взявшие — по указанию герцога — семилетнего Карла Петера Ульриха в оборот, учили его тому, что знали сами: уставу, ружейным приемам, маршировке, дисциплине, порядку.

Конечно, от них было невозможно ожидать знания системы Аристотеля или Коперника, а их вкусы, шутки и запросы были весьма незатейливы. Впрочем, любовь к военному делу, основанному на линейной тактике, требующей муштры, была присуща и Фридриху Великому. Это не мешало ему быть образованным, остроумным человеком, выдающимся политиком. Но в жизни и биографии будущего русского императора Петра III плац, лагерь, идеально ровный строй приобрели совершенно иное, гипертрофированное значение. В страсти к военному делу проявлялась не сила, а слабость этого человека; погружаясь в эту страсть, он спасался тем самым от внешнего мира — такого неприятного, сложного, враждебного. Но это пришло потом, в России, основы же такого мировосприятия были заложены в детстве, когда грохот барабанов на улице или развод на дворе замка заставляли мальчика бросать все занятия и жадно приникать к окну, чтобы насладиться созерцанием марширующих солдат.

Отец его умер в 1739 году, когда мальчику было одиннадцать лет. Он сделался отныне герцогом Голштинии, хотя был, в сущности, слабым,

болезненным и хилым ребенком. В том же году Фике впервые встретилась со своим будущим мужем в Эйтине. Это была родственная встреча, ибо Петер приходился Фике троюродным братом.

Схема родства была такова: в конце XVII века Голштейн-Готторпский герцогский дом имел две линии — от двух братьев. Старший — герцог Фридрих II — погиб на войне в 1702 году. После него на голштинский престол вступил его сын, Карл Фридрих — муж цесаревны Анны Петровны и отец Карла Петера Ульриха, будущего Петра III. Младший же брат Фридриха II Голштинского — Христиан Август — стал отцом Иоганны-Елизаветы и дедушкой Фике. У Иоганны Елизаветы был еще брат, Адольф Фридрих, епископ Любекский и тогда — в 1739 году — регент при малолетнем герцоге Голштинском Карле Петере Ульрихе. Во дворце дяди десятилетняя Фике и познакомилась с одиннадцатилетним Петером.

Юная Фике не обратила внимания на мальчика. Она упивалась предоставленной ей редкой свободой носиться по замку, да еще готовила с горничными какой-то волшебный молочный суп. Правда, девочка заметила, что троюродный брат завидовал свободе, которой она пользовалась, тогда как он был окружен педагогами, и все шаги его были распределены и сосчитаны.

Придя к власти в ноябре 1741 года, императрица Елизавета Петровна сразу же вспомнила о своем племяннике. Елизаветой владели как родственные чувства, так и политические соображения: внука Петра Великого, имевшего, согласно завещанию своей бабки Екатерины I, больше прав на российскую корону, чем сама Елизавета, следовало держать под присмотром. И в начале 1742 года Петера привезли в Россию, окрестили по православному обряду, назвали Петром Федоровичем и объявили наследником российского престола.

Его интеллект, воспитание, интересы производили тяжелое впечатление на окружающих. Чрезмерная инфантильность, капризность, вспыльчивость племянника, его неумение прилично вести себя в обществе беспокоили Елизавету. В мае 1746 года канцлер А. П. Бестужев-Рюмин составил инструкцию обер-гофмаршалу двора великого князя. В ней предписывалось всемерно препятствовать играм и шуткам Петра с лакеями, служителями, «притаскиванию всяких бездельных вещей». Кроме того, нужно было смотреть, чтобы наследник достойно вел себя в церкви, «остерегался от всего же неприличного в деле и слове, от шалостей над служащими при столе, а именно от залития платей и лиц [и] подобных тому неистовых издеваний». Нельзя забывать, что речь идет не о дерзком сорванце-подростке, а о девятнадцатилетнем взрослом человеке, который к тому времени уже был женат.

В первые месяцы жизни Фике в России Петр сдружился с ней, но это не была та дружба юноши с девушкой, которая перерастает в любовь. «Ему было тогда шестнадцать лет, он был довольно красив до оспы, но очень мал и совсем ребенок; он говорил со мною об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушала его из вежливости и в угоду ему; я часто зевала, не отдавая себе в этом отчета, но я не покидала его и он тоже думал, что надо говорить со мною; так как он говорил только о том, что любит, то он очень забавлялся, говоря со мною подолгу. Многие приняли это за настоящую

привязанность, особенно те, кто желал нашего брака, но никогда мы не говорили между собою на языке любви: не мне было начинать этот разговор, скромность мне воспретила бы это, если б я даже почувствовала нежность, и в моей душе было достаточно врожденной гордости, чтобы помешать мне сделать первый шаг; что же его касается, то он и не помышлял об этом, и это, правду сказать, не очень-то располагало меня в его пользу: девушки, что ни говори, как бы хорошо воспитаны ни были, любят нежности и сладкие речи, особенно от тех, от кого они могут их выслушать, не краснея». Петру же нужна была не жена, а, как писала в тех же воспоминаниях Екатерина, «поверенная в его ребячествах». Она таковою для Петра и стала, но не более того.

21 августа 1745 года их обвенчали: Фике стала женой наследника российского престола. В первую брачную ночь Екатерина, лежа в постели, долго прождала своего суженого, а когда «Его императорское высочество, хорошо поужинав, пришел спать, и когда он лег, он завел со мной разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров, если бы увидал нас вдвоем в постели, после этого он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня… Я очень плохо спала, тем более, что, когда рассвело, дневной свет мне показался очень неприятным в постели без занавесок, поставленной против окон… Крузе (новая камер-фрау. — *Е. А.)* захотела на следующий день расспросить новобрачных, но ее надежды оказались тщетными, и в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения…»

«У меня были хорошие учителя: несчастье с уединением»

Фике не повезло ни в любви, ни в семейной жизни, хотя — по складу ее характера — она казалась созданной для счастья. С грустью она писала в январе 1767 года госпоже Бьельке: «Я принадлежу к числу тех женщин, которые думают, что всегда виноват муж, если он не любим, потому что, поистине, я бы очень любила своего, если бы представлялась к тому возможность и если бы он был так добр, что желал бы этого».

Эту же тему она развивала и потом — в своих мемуарах: «Я очень бы любила своего нового супруга, если бы только он захотел или мог быть любезным… по закалу, какой имело мое сердце, оно принадлежало бы всецело и без оговорок мужу, который любил бы только меня и с которым я не опасалась бы обид, каким подвергалась с данным супругом; я всегда смотрела на ревность, сомнение и недоверие и на все, что из них следует, как на величайшее несчастье, и была всегда убеждена, что от мужа зависит быть любимым своей женой, если у последней доброе сердце и мягкий нрав; услужливость и хорошее обращение мужа покорят ее сердце».

Здесь нет рисовки. За несколько лет до того, как процитированные выше слова легли на бумагу из-под пера Екатерины, граф Джон Бекинхэм писал, что по натуре императрица бесконечно нежна, взглянешь на нее — и сразу видишь, что она могла бы любить и что любовь ее составила бы счастье достойного ее поклонника.

Муж ее долгие годы оставался великовозрастным дитятей. Когда Елизавета вознамерилась женить шестнадцатилетнего племянника, ее врач Лесток

советовал императрице сделать это не раньше, чем Петру исполнится двадцать пять лет, — так отставал наследник в своем физическом и умственном развитии. Екатерина описывает, как Петр на протяжении нескольких лет их супружеской жизни натаскивал в спальню, прямо в кровать, игрушек и часами играл в куклы, втянув в эту забаву камер-фрау. Но дело было не только в инфантильности великого князя. Екатерина была гордой и самолюбивой женщиной, с тем достоинством, которое бросалось в глаза при первой же встрече с нею. Такие женщины больше всего боятся оскорбления или даже пренебрежения к себе.

В самые первые дни жизни с мужем, вспоминает Екатерина, «у меня явилась жесткая для него мысль… Я сказала себе: если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле; по характеру, каков у тебя, ты пожелаешь взаимности; этот человек на тебя почти не смотрит, он говорит только о куклах или почти что так и обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя; ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого, следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, насчет нежностей к этому господину; думайте о себе, сударыня. Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня и эта мысль никогда не выходила из головы, но я остерегалась проронить слово о твердом решении, в котором я пребывала, — никогда не любить безгранично того, кто не отплатит мне полной взаимностью». От этого признания так и веет сухим рационализмом, весьма необычным в столь юном возрасте. Это была «обратная сторона» нежной Фике, та эгоистичная расчетливость, из которой всегда произрастает честолюбие.

Как мы помним, в своем наказе отец Фике советовал дочери почитать Бога, императрицу и своего мужа. Это пожелание Екатерина преобразила в формулу: «1. Нравиться великому князю. 2. Нравиться императрице. 3. Нравиться народу… Поистине, я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность — все с моей стороны постоянно к тому было употребляемо с 1744 по 1761 год. Признаюсь, что когда я теряла надежду на успех в первом пункте, я удваивала усилия, чтобы выполнить два последних; мне казалось, что не раз успевала я во втором, а третий удался мне во всем своем объеме, без всякого ограничения каким-либо временем и, следовательно, я думаю, что довольно хорошо исполнила свою задачу».

С первой задачей все было ясно — она оказалась неразрешимой. Часто с годами семейной жизни противоречия сглаживаются, супруги сближаются и становятся даже в чем-то неуловимо похожи. В этой паре все было как раз наоборот: на парадном портрете, относящемся к началу их общей жизни, супруги стоят, неловко взявшись за руки: два так похожих друг на друга длинноносых подростка, сведенных вместе судьбой. Позднейшие портреты показывают как они изменились, как стали разительно непохожи — чужие, далекие друг другу люди, каждый из которых уже давно шел своей дорогой.

Петр от игр с деревянными солдатиками и живыми лакеями перешел к постоянной военно-полевой игре, которая заменяла ему жизнь, создал соединение голштинских войск и летом в окрестностях Ораниенбаума проводил с ним маневры, походы, парады, разводы. Он превратился в настоящего военного и с наслаждением дышал воздухом казармы. Он ощущал себя не

наследником русского престола, а голштинским герцогом, временно и неведомо зачем заброшенным в чуждую ему страну, с ее ужасным климатом, унылой столицей, грязными городишками, языческой церковью, дурацкой парной баней, в которую он наотрез отказывался ходить, высокомерной, холопствующей знатью, взбалмошной теткой-императрицей, которая так и не стала ему родной. Все, что шло от нее, он с трудом терпел, тихо ненавидел и отчаянно боялся.

Стремясь сохранить свое «я», он защищался разными способами: ложью в юности, грубостью в зрелые годы, самоизоляцией в кругу лакеев и своих кавалеров-голштинцев, идеализацией своей милой, зеленой Голштинии, безмерной любовью к Фридриху Великому. Но все это было как-то карикатурно преувеличено: и ложь, и грубость, и военные игры с живыми и игрушечными солдатиками. Карикатурен был и его патриотизм, и любовь к потсдамскому кумиру, как был карикатурен весь облик великого князя — узкоплечего, худого, в чрезмерно тесном мундире прусского образца, с гигантской шпагой на боку и в чудовищной величины ботфортах.

Читая мемуары Екатерины II, мы видим Петра Федоровича ее глазами, до нас долетает с его половины визг истязаемых им собак, пиликанье на скрипке, какой-то шум и грохот. Иногда он вваливался на половину жены, пропахший табаком, псиной и винными парами, будил ее, чтобы рассказать какую-нибудь скабрезную историю, поболтать о прелестях принцессы Курляндской или о приятности беседы с какой-либо другой дамой, за которой он в данный момент волочился. Екатерина, как в первые месяцы жизни в России, притворно внимательно его слушала, незаметно зевала и ждала, когда он закончит свои откровения, конечно, не радовавшие ее.

Они были совершенно несхожие люди и говорили на разных, непонятных друг другу языках. Екатерина пишет, что в таких беседах для нее было тяжелым трудом поддерживать разговор о подробностях по военной части, очень мелких, о которых он говорил с удовольствием, тем не менее она старалась не дать ему заметить, что изнемогает от скуки и усталости. «Я любила чтение, он тоже читал, но что читал он? Рассказы про разбойников или романы, которые мне были не по вкусу. Никогда умы не были менее сходны, чем наши; не было ничего общего между нашими вкусами, и наш образ мыслей и наши взгляды на вещи были до того различны, что мы никогда ни в чем не были бы согласны, если бы я часто не прибегала к уступчивости, чтобы не задевать его прямо». Когда он наконец уходил, самая скучная книга казалась ей приятным развлечением.

Кроме того, Екатерина постоянно убеждалась, что ее муж — трус и не в состоянии защитить интересы их маленькой семьи от постоянного и бесцеремонного вмешательства посторонних — порученцев и соглядатаев императрицы Елизаветы. Бывало, когда императрица ее бранила, великий князь, чтобы угодить тетушке, начинал бранить жену вместе с ней. Особенно тяжело Екатерине пришлось в 1758 году, когда, заподозренная в заговоре вкупе с канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым, она была допрошена лично Елизаветой в присутствии начальника Тайной канцелярии графа А. И. Шувалова и великого князя, который не только не защищал жену, но стремился направить гнев императрицы на нее, что в конце концов возмутило даже саму Елизавету. А

сколько раз, сидя за столом рядом с перепившим мужем, великая княгиня сгорала от стыда за его кривлянья, грубости, недостойное наследника престола поведение на людях…

Все это мешало их сближению. Но не будем забывать, что рассказанное выше основано на мемуарах самой Екатерины. Мы видим ненавистного ей мужа ее глазами. Нельзя сказать, что Петр был совершенно равнодушен к супруге. Когда Екатерину заподозрили в симпатиях к красивому камер-лакею Андрею Чернышеву, то между супругами произошла трогательная сцена: после обеда Екатерина лежала на канапе и читала книгу, вошел Петр, «он прошел прямо к окну, я встала и подошла к нему; я спросила, что с ним и не сердится ли он на меня? Он смутился и, помолчав несколько минут, сказал: “Мне хотелось бы, чтобы вы любили меня так, как любите Чернышева”».

И потом, он тянулся к ней — как и Екатерина, он был совсем одинок при дворе, и за каждым его шагом следили. Когда от него убрали любимых камердинеров Крамера и Румберга — самых доверенных и близких ему с детства людей, — то Петр, пишет Екатерина, «не имея возможности быть с кем-нибудь откровенным, в своем горе обращался ко мне. Он часто приходил ко мне в комнату, он знал, скорее чувствовал, что я была единственной личностью, с которой он мог говорить без того, чтоб из малейшего его слова делалось преступление, я видела его положение, и он был мне жалок…» Но мостик доверительности и нежной близости так и не был ими построен. Он как бы не замечал в ней женщины, видя в лучшем случае товарища по несчастью, а она исполняла жестокий обет, некогда подсказанный ей холодным разумом.

Известно, что великая княгиня, а потом императрица, была гением общения (и ниже я об этом расскажу), она могла очаровать, привлечь на свою сторону самых разных людей. В Екатерине был какой-то обаятельный магнетизм, который чувствовали не только люди, но и животные. Современник рассказывает, что к ней со всех сторон бежали ласкаться собаки, отыскивая во дворце ходы, они проникали в апартаменты императрицы, чтобы лечь у ее ног; птицы, обезьянки признавали только ее одну.

Конечно, муж — не обезьянка, но очарование Екатерины почему-то не коснулось его. Причина их семейного несчастья состояла, по-видимому, не только в инфантильности или черствости Петра, не только в гордости и чрезвычайно высоких требованиях Екатерины к своему партнеру, но и в каком-то холодном, трезвом расчете, который она привнесла в свой брак с самого начала. Это мы видим из признаний, которые она делает в мемуарах, рассуждая о тех жестких мыслях о Петре, которые к ней пришли в первые дни их совместной жизни: «Думайте о себе, сударыня!»

В другом месте мемуаров она проговаривается: «Великий князь во время моей болезни проявил большое внимание ко мне; когда я стала лучше себя чувствовать, он не изменился ко мне, по-видимому, я ему нравилась; не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился: я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж». И далее — самое главное: «Но по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, чем его особа». Беда в том, что она тоже не стремилась к союзу, она видела себя соперницей Петра, и

рано разгоревшееся честолюбие цербстской принцессы — российской великой княгини уже не позволяло им сблизиться.

С. 313–326.

Еще в 1747 году, когда Петру было девятнадцать лет, прусский посланник Финкельштейн провидчески писал Фридриху II, что русский народ так ненавидит великого князя, что тот рискует лишиться короны, даже если она естественно перейдет к нему после смерти императрицы. Когда же в 1761 году Петру исполнилось тридцать три года, француз Лафермиер писал о нем то же самое: «Великий князь представляет поразительный пример силы природы или, вернее, первых впечатлений детства. Привезенный из Германии тринадцати лет, немедленно отданный в руки русских, воспитанный ими в религииивнравах империи, он и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем другим… Никогда нареченный наследник не пользовался менее народной любовью. Иностранец по рождению, он своим слишком явным предпочтением к немцам то и дело оскорбляет самолюбие народа, и без того в высшей степени исключительного и ревнивого к своей национальности. Мало набожный в своих приемах, он не сумел приобрести доверия духовенства».

Этим сказано все: дальше можно только приводить подробности о том, как новый император заключил невыгодный для России мир с Фридрихом II, как он ради голштинских интересов готовился к войне с Данией, как публично пренебрегал церковной службой и не крестился в церкви, приблизил к себе много немцев, ходил в прусском мундире, ввел в армии столь необходимую, но тягостную для баловней Екатерины строжайшую дисциплину с ежедневными экзерциями, и так далее… Человек негибкий, упрямый, он шел во всем напролом, не считаясь ни с ропотом за спиной, ни с советами своего кумира Фридриха II и других людей, желавших ему добра.

Английский посланник Кейт, глядя на Петра III, не выдержал и как-то сказал графине Брюс: «Послушайте, да ведь ваш император совсем сумасшедший; не будучи безумным, нельзя поступать так, как он поступает». Нет, Петр III не был ни безумцем, ни глупцом, ни злодеем и не пролил ничьей крови. Он казался каким-то нелепым, странным, случайным на русском троне человеком. Необузданный и взбалмошный, он, приняв во всем объеме безграничную власть, не был в состоянии контролировать события, быть политиком, осознавать себя российским самодержцем.

Фигура Петра III драматична, ему не повезло с судьбой и — главное — со страной. Если бы он остался в Голштинии, то, наверное, прожил бы долгую жизнь и умер бы, оплаканный своими добрыми подданными как примерный герцог. Но он попал в Россию, и за ним упрочилась обидная кличка немца — ненавистника России, любителя муштры, самодура и глупца. Но все же если каждый человек — хозяин своей судьбы, то Петр распорядился ею бездарно: нужно согласиться с Екатериной, как-то написавшей, что первым врагом Петра III был он сам – до такой степени все его действия были неразумны.

Обратимся теперь снова к Екатерине. Пять недель, пока народ прощался с покойной императрицей, она провела в полном трауре возле ее гроба. Она не

отходила от усопшей ни на день, не отпугивал ее даже сильный запах тления. Конечно, совсем не скорбь каждое утро гнала Екатерину в затемненный траурный зал — ведь мы знаем, что ее отношения с Елизаветой были весьма натянуты и что именно великая княгиня в письме к Уильямсу с нетерпением повторяла слова Понятовского: «Ох, эта колода! Она просто выводит нас из терпения! Умерла бы она скорее!» Здесь было другое. Как женщина умная, она понимала, что столь продолжительная скорбь не останется незамеченной и принесет ей пользу, ведь рядом кривлялся, болтал с фрейлинами и передразнивал священников ее супруг-император.

Но вместе с тем она не отходила от гроба Елизаветы, как будто боясь расстаться с прошлым, оказаться перед лицом неприятностей, испытаний и горестей, которые неминуемо ждали ее за стенами траурного зала. Все заметили, что имя императрицы даже не было упомянуто в манифесте о восшествии Петра III на престол, что император публично унижал свою царственную супругу, что она, полная идей, знаний, честолюбивых помыслов и стремлений, не получила и тени реальной власти.

Английский посланник Кейт в марте 1762 года писал в Лондон, что влияние императрицы совершенно ничтожно: с нею не только не советуются в государственных делах, но и в частных делах бесполезно рассчитывать на успех, прибегая к ее посредничеству. Французский посланник Бретейль солидарен с коллегой: «Положение императрицы самое отчаянное: ей выказывают полнейшее презрение… Император удвоил внимание к девице Воронцовой. Он назначил ее гофмейстериною. Она живет при дворе и пользуется чрезвычайным почетом. Признаться, странный вкус! Она не отличается умом, а что касается наружности, то она ниже всякой критики. Она походит во всех отношениях на трактирную служанку самой низкой пробы».

Ну, о вкусах не спорят — мы же не видели жену самого Бретейля! Несомненно одно — привязанность Петра к Елизавете Романовне Воронцовой была сильной и глубокой. Именно в этом и заключалась опасность для Екатерины. Фаворитку поддерживал весь влиятельный при дворе клан Воронцовых во главе с ее дядей — канцлером Михаилом Илларионовичем. Петр не только не скрывал своей связи с ней, но и не раз высказывал намерение отставить опостылевшую ему супругу. Слухи о секретной подготовке уютной келейки в Шлиссельбургской крепости, неподалеку от тюрьмы Ивана Антоновича, ползли по столице. В письме барону Остену в июне 1762 года сама Екатерина писала, что Воронцовы замыслили заточить ее в монастырь и посадить на престол рядом с Петром свою родственницу.

В 1766 году в Москве была записана народная песня о царице, которая плачет от одиночества и больше волков, воров и разбойников боится собственного мужа. А тот открыто гуляет с любимой своей фрейлиной, Лизаветой Воронцовой, водит ее «за праву руку, они думают крепку думушку», как бы царицу «срубить сгубить…»

К прочим несчастьям императрицы добавилась еще и беременность. 11 апреля 1762 года она родила мальчика — сына Орлова (будущего графа Алексея Григорьевича Бобринского) — и новорожденного тотчас тайно увезли из дворца в дом камердинера императрицы Шкурина.

Возвращаясь к донесению Бретейля, все же отметим, что кончается оно вполне оптимистично: «Я полагаю, что императрица, смелость и горячность коей мне известны, решится рано или поздно на крайние меры. У нее есть друзья, которые стараются успокоить ее, но они решатся для нее на все, ежели она того потребует».

Действительно, друзья Екатерины предлагали ей не сидеть сложа руки, а, используя всеобщую ненависть к Петру, свергнуть его, заточить в каземат, чтобы самой править как самодержице или как регентше при малолетнем императоре Павле I. Ситуация начала лета 1762 года этому благоприятствовала: особенно негодовали армия и гвардия — им предстояло вскоре садиться на суда и плыть на войну с Данией, которой российский император хотел отомстить за аннексию в 1702 году части Голштинского герцогства. Эта война была непопулярна, как и прусского покроя мундиры, в которые переодели армию. Екатерина знала, что она не одинока, и верные друзья пойдут за ней без колебаний — стоило только посмотреть на Орлова и его братьев. Она обсуждала вариант переворота и с графом Кириллом Разумовским — влиятельнейшим сановником и шефом Измайловского полка, а также с воспитателем наследника Никитой Паниным. И тот и другой тоже были готовы поддержать Екатерину. Но, как бывает в подобных случаях, решиться на такое отчаянное дело, как переворот, было трудно, требовался повод, толчок, после которого назад возврата нет.

Таким толчком и стал инцидент на торжественном обеде 9 июня 1762 года, когда Петр, разгневавшись на жену, в присутствии знати, генералитета, дипломатического корпуса крикнул ей через весь стол: «Folle!» — «Дура!» За столько лет жизни рядом с Екатериной Петр так и не понял, что женщин, подобных ей, оскорблять нельзя. С этого дня Екатерина стала внимательнее слушать тех, кто советовал ей действовать решительно и быстро.

Шел июнь, двор переехал за город. Екатерина поселилась в Петергофе, а Петр жил в своем любимом Ораниенбауме. 19 июня императрица приехала туда и в последний раз видела своего мужа живым: она смотрела комедию в маленьком театре Ораниенбаумского дворца, а сам император играл в оркестре на скрипке. Мы никогда не узнаем, о чем размышляла в это время Екатерина. Может быть, видя своего мужа-императора среди оркестрантов, она, вспомнив последние слова римского императора Нерона, подумала: «Какой музыкант пропадает!» После спектакля Екатерина вернулась в Петергоф. Она была готова к своей революции и только ждала известий от Орловых.

28 июня, накануне дня своего тезоименитства (ведь 29 июня – праздник святых Петра и Павла), Петр вместе с канцлером Воронцовым, фельдмаршалом Б. Х. Минихом, возвращенным им из ссылки, прусским посланником, девицей Воронцовой и прочими «ближними» дамами и кавалерами отправился в Петергоф. Прибыв туда, император и его свита увидели, что дворец Монплезир, в котором жила императрица, пуст, и с удивлением услышали, что она еще в пять часов утра тайно уехала в Петербург. Дамы, почувствовав неладное, заголосили…

Славная революция 28 июня

Фридрих II говорил графу Сегюру по поводу переворота 28 июня 1762 года: «Их заговор был безумен, плохо составлен. Петра III погубило то, что, несмотря на совет храброго Миниха, в нем не оказалось достаточно мужества, он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого посылают спать». Однако, добавил прусский король, Екатерине «нельзя вменить… ни честь, ни преступление в этом перевороте, она была молода, слаба, иностранка, накануне развода с мужем и своего заточения. Все сделали Орловы… Екатерина еще ничем не могла руководить, она прибегла к помощи желавших ее спасти».

Много справедливого в словах великого короля. Орловы — эти бузотеры, выпивохи и хвастуны в роли заговорщиков — компания, по-видимому, действительно комичная. Они действовали в пользу «матушки» так топорно, что близкие Петру сановники, узнав об особой антигосударственной активности Григория Орлова, приставили к нему соглядатая — С. Перфильева, адъютанта Петра III, которому было поручено выведать у Орлова все его замыслы.

Но все же, не ставя под сомнение ум и опытность Фридриха Великого, скажем, что Россия — не Германия, и перевороты в ней почти всегда удаются. Разве лучше был «составлен» заговор Елизаветы Петровны в 1741 году или заговор против Бирона осенью 1740 года? Все революции безумны, замыслы революционеров алогичны, кажутся неисполнимыми, противоречат реальности, но тем не менее они часто достигают успеха — во всяком случае, в России.

Славная революция 28 июня была подготовлена не столько усилиями отважных Орловых, которые в дружеских застольях с гвардейскими офицерами вели пропаганду и агитацию в пользу Екатерины, а также раздавали по ротам деньги на чарку водки за здоровье государыни (чтоб помнили доброту «матушки»), сколько самим Петром III, который своей безумной политикой так восстановил против себя солдат и офицеров, что им были недовольны все, и для мятежа нужна была только вспышка. Сам же император пребывал в полном благодушии. В ответ на предупреждения Фридриха II о честолюбивых намерениях Екатерины и заговоре в гвардии он писал: «Что касается Ваших забот о моей личной безопасности, то прошу Вас об этом не беспокоиться, солдаты зовут меня отцом, по их словам, они предпочитают повиноваться мужчине, а не женщине; я гуляю один, пешком по улицам Петербурга; ежели бы кто злоумышлял против меня, то давно исполнил бы свое намерение, но я делаю всем добро и уповаю во всем только на Бога, под его защитою мне нечего бояться». Скорее всего Петр не знал русскую пословицу: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Об обстановке накануне выступления говорит эпизод с безымянным преображенским капралом, ставший прологом революции 28 июня. Капрал, по-видимому, опасаясь пропустить историческое событие, ходил от одного офицера к другому и спрашивал: когда же будем свергать императора? Поручик Измайлов прогнал любознательного подчиненного, но все же, для собственной безопасности, доложил о происшедшем своему ротному, тот — выше по начальству; выяснилось, что накануне капрал об этом же спрашивал капитана Пассека и тот тоже выгнал любопытного, но, в отличие от служаки Измайлова, командиру не донес. Недоносительство — преступление в России серьезное,

Пассека арестовали и посадили в холодную на полковом дворе. Он был ближайшим приятелем и собутыльником Орловых, а следовательно, — заговорщиком, и, узнав о его аресте, Орловы заметались по столице: «Пассек арестован! Заговор раскрыт! Пропадаем, надо действовать!» Григорий Орлов из дела был выключен — он спаивал своего соглядатая Перфильева, поэтому «штаб революции» составили его младшие братья: Алексей по кличке Алехан и Федор.

Федор поехал к Кириллу Разумовскому и сказал, что брат Алексей собирается ехать за Екатериной в Петергоф, чтобы доставить ее в Измайловский полк, где много расположенных к императрице офицеров. Разумовский не бегал по кабинету, не суетился, цену Орловым он знал, и поэтому в ответ на горячую речь Федора молча покивал и выпроводил его восвояси. Но как только Орлов ушел, Разумовский, как президент Петербургской Академии наук, тут же распорядился привести академическую типографию в полную готовность, чтобы по первой команде начать печатать манифест о восшествии на престол императрицы Екатерины II. Стало быть, в успехе предприятия хитрый президент не сомневался…

«Пора вставать, все готово, чтобы провозгласить вас!» — таковы были исторические слова, которыми Алексей Орлов рано утром 28 июня приветствовал в Монплезире внезапно разбуженную Екатерину. Она тотчас встала, быстро оделась и вместе со своей фрейлиной Екатериной Шаргородской села в карету. Орлов вскочил на козлы — и лошади поскакали… Фридрих II не ошибся: Екатерина действительно не руководила заговором — в этом не было необходимости, у нее была своя роль, и она сыграла ее отлично. Роль была проста: народ, возмущенный правлением Петра III, позвал ее — и она пришла.

Так, собственно, и говорилось в извещении Коллегии иностранных дел посланникам, аккредитованным при русском дворе: «Ее императорское величество по единодушному желанию и усиленным просьбам своих верных подданных и истинных патриотов империи» взошла на престол. Но все же нужно признать, что Екатерина проявила мужество.

Самообладанием, волей и хладнокровием в тяжелые минуты жизни она отличалась всегда. Она была спокойна, когда однажды во время поездки на юг кони испугались и понесли ее карету под гору; в другой раз Екатерина, к удивлению свиты, не вышла из своей каюты на палубу яхты, когда та ночью столкнулась с другим судном. Утром она объяснила придворным причину своего спокойствия: «Если опасность, то ничем не помогу, а только помешаю, а если нужно думать о спасении, то вы меня, конечно, уведомите».

То же самое было и 28 июня 1762 года, когда взмыленные кони мчали ее карету по пыльной петергофской дороге к Петербургу. Екатерина летела навстречу своей судьбе со спокойным чувством оптимистичной фаталистки: назад хода нет, кони понесли, верные люди в беде не бросят — и будь что будет: Бог не выдаст, свинья не съест! Известно, что по дороге она хохотала, потешаясь над Шаргородской, которая впопыхах при сборах оставила в Монплезире какую-то очень-очень важную деталь женского туалета. Какую — история деликатно замалчивает.

Алехан кучером был отменным — от Петергофа до Красного кабачка в Автово он доставил императрицу за полтора часа и бережно передал ее, как

ценную эстафету, брату Григорию, который, перепив-таки Перфильева, поджидал карету вместе с князем Федором Барятинским. С ними была открытая коляска, в которую и пересадили Екатерину. Этот дрянной старый экипаж стал колесницей славы Екатерины Великой, и место бы ему в музее возле броневика «Враг капитала», с которого выступал в 1917 году Ленин, да жаль, не сохранился.

У слободы Измайловского полка коляску окружили измайловцы, оглушительно крича здравицы «матушке». Тут же полковой поп привел солдат и офицеров к присяге, и во главе со своим командиром графом Разумовским измайловцы двинулись вслед за коляской к казармам Семеновского полка, откуда уже бежали обрадованные нежданной встречей с «матушкой» семеновцы. Вскоре к ним присоединились преображенцы, прося прощения за опоздание: пришлось вязать некоторых непослушных офицеров.

При выезде на Невский проспект императрицу приветствовала в полном составе конная гвардия, блистающая латами и оружием, с развернутым знаменем. Все кричали «ура!», отовсюду бежал народ: это был не переворот, а триумфальное шествие, демонстрация победителей. На некоторое время Екатерина остановилась у церкви Рождества Богородицы для богослужения, а потом двинулась дальше. Народ был уже весело возбужден: кабатчики бесплатно, без единого слова возражения выдавали всем желающим, «прямым сынам Отечества», горячительное. «Сынов» становилось все больше и больше — Невский был запружен толпами, и коляска Екатерины с трудом продвигалась вперед. Наконец показался Зимний дворец. Там императрицу уже ждало все «государство» — Сенат, Синод, высшие чиновники, придворные, чтобы присягнуть на верность своей новой государыне.

Энтузиазм был так велик, что прямо на Дворцовую площадь доставили фуры с отмененным Петром III елизаветинским обмундированием, и солдаты, не стесняясь дам, тут же начали переодеваться, бросая наземь ненавистные прусские мундиры.

После короткого отдыха и совещания с доверенными лицами было решено кончать дело. Екатерина написала указ на имя Сената о том, что выступает в поход со своим войском. Конечным пунктом был Ораниенбаум, а противником — бывший уже император Петр III и его голштинцы. Трудно вспомнить в истории нечто подобное — войну жены против мужа. Екатерина переоделась в зеленый мундир Преображенского полка: лихо заломлена треуголка, на боку шпага, темляк, который вовремя подал проворный одноглазый унтер-офицер Григорий Потемкин, отличный конь под седлом, ну а какой наездницей она была, мы уже знаем!

Выступили в десять часов пополудни. Стоял теплый солнечный вечер. Зрелище было, по-видимому, потрясающее: блеск оружия, стройные ряды гвардейских полков, знамена, толпы вдоль улиц, а впереди, на гордом коне, со шпагой в руке — прекрасная амазонка-императрица… Но лучше всех об этом сказал великий Державин, заменив ради красного поэтического словца треуголку шлемом с перьями и добавив Екатерине доспехов:

Одень в доспехи, в брони златы

И в мужество ея красы,
Чтоб шлем блистал на ней пернатый,
Зефиры веяли власы,
Чтоб конь под ней главой крутился
И бурно бразды опенял,
Чтоб Норд седой ей удивился
И обладать собой избрал.

Ропшинская драма

Петр III со свитой прибыл в Петергоф в 2 часа дня, то есть в тот момент, когда в Петербурге Екатерина открыла совещание высших сановников, на котором решали вопрос о судьбе свергнутого императора. В 3 часа Петр узнал от вернувшегося из столицы поручика Бернгорста о волнении в Преображенском полку. Нельзя сказать, что Петр вел себя как ребенок: он сразу направил указ в Кронштадт, чтобы немедленно прислали в Петергоф три тысячи солдат; такой же указ получили и негвардейские полки, стоявшие в столице — Астраханский и Ингерманландский. Им он приказал срочно маршировать в Ораниенбаум. В случае успеха замысла Петра и его окружения поход Екатерины с веселыми гвардейцами мог бы закончиться не так триумфально, как он начался.

Миних предложил свой план: императору явиться в Петербург и своим грозным видом усмирить бунт, подобно Петру Великому, расстроившему замыслы стрельцов. Но, увы, внук Петра Великого был лишь жалкой тенью своего гениального деда. Нерешительный и трусливый, он ударился в панику, начал метаться и отменять только что принятые указы. У него еще оставалась возможность бежать как в Лифляндию или Нарву, где стояли готовые к отправке в Данию полки, так и за границу. Он мог уплыть на яхте и в Финляндию, и в Швецию. Но Петр этого не сделал — отчасти потому, что сразу же оказался в изоляции: посылаемые им во все стороны гонцы не возвращались (либо их задерживали сторонники Екатерины, либо они сами перебегали к победительнице), поэтому император не мог понять, что все-таки происходит в Петербурге.

Екатерина оказалась явно проворнее своего супруга. Она сразу же послала указы по направлениям возможного бегства Петра с требованием воспрепятствовать этому всеми силами. В итоге Петр упустил время, и когда он сел на галеру и подошел к кронштадтской гавани, вход в нее был уже перекрыт бонами и караульный мичман Михаил Кожухов в ответ на приказ императора пропустить его, Петра III, в гавань, прокричал, что теперь уже нет Петра III, а есть только Екатерина II. Это означало, что эмиссары Екатерины поспели в Кронштадт раньше, чем люди Петра. Выход в открытое море также был перекрыт вооруженным кораблем.

И тут Петр сник и прекратил всякие попытки бороться. Он вернулся в Ораниенбаум и повел себя именно так, как и сказал об этом Фридрих II, — позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого отправляют спать.

Когда утром 29 июня войска подошли к Стрельне, Екатерина получила письмо Петра, в котором он просил у жены прощения за обиды и обещал исправиться. Она ничего не ответила мужу, и поход продолжался. В Петергофе

посланник Петра передал императрице вторую, написанную карандашом записку, в которой Петр обещал отказаться от престола в обмен на небольшую пенсию, голштинский трон и фрейлину Воронцову. Недорого же оценил внук Петра Великого Российскую империю — дедушкино наследство!

Екатерина на этот раз откликнулась и потребовала, чтобы он письменно подтвердил свое отречение от престола. К обеду Григорий Орлов привез из Ораниенбаума в Петергоф собственноручное отречение Петра III, а следом — и самого бывшего императора вместе с Воронцовой. В Петергофе их сразу же разлучили, уже навсегда. И вечером того же дня Алексей Орлов, капитан Петр Пассек и князь Федор Барятинский увезли Петра в Ропшу. Предполагалось, что пленник поживет там несколько дней, пока не приготовят покои в Шлиссельбурге. Чтобы на одном маленьком острове не оказались сразу два бывших императора, тамошнего узника, Ивана Антоновича, решили срочно вывезти севернее, в крепость Кексгольм. Чем это закончилось, читатель помнит.

Полки вернулись в столицу, и 30 июня — воскресенье — стало днем всеобщего ликования и пьянства. Но императрице было не до веселья. Нужно было взять под контроль всю страну, нужно было думать о будущем. Самой острой была проблема Петра III — будущего пожизненного узника и, соответственно, страдальца (пример Ивана Антоновича, который, по народной молве, пострадал за «истинную» православную веру, был у всех на устах). Договориться с Петром было невозможно. Он вел себя по-детски капризно, наивно, не понимая ситуации, в которой оказался. Даже письма, которые он послал жене 29 июня, написаны каким-то неустоявшимся, детским почерком.

В первом он писал: «Ваше Величество, если Вы решительно не хотите уморить человека, который уже довольно несчастлив, то сжальтесь надо мною и оставьте мне мое единственное утешение, которое есть Елизавета Романовна. Этим Вы сделаете одно из величайших милостивых дел Вашего царствования. Впрочем, если бы Ваше величество захотели на минуту увидать меня, то это было бы верхом моих желаний. Ваш нижайший слуга Петр».

Следом он шлет другую записку: «Я еще прошу меня, которой Вашей волею исполнал во всем, отпустить в чужие краи с теми, которыя я Вашему Величеству прежде просил, и надеюсь на Ваше великодушие, что Вы меня не оставите без пропитания». Повторение просьбы возвратить ему подругу, глубоко ненавистную императрице, разрешить уехать с ней в Голштинию и обеспечить «пропитанием», говорило о том, что наивность Петра, как ни жаль нам его по-человечески, должна все же называться иначе. Представить себе ход мыслей Екатерины, узурпировавшей власть законного императора, внука Петра Великого, он абсолютно не может, как не может предусмотреть и возможных внутренних и международных последствий своей эмиграции в Голштинию. Даже пример Ивана Антоновича, которого Елизавета не выпустила за границу и заточила пожизненно только за то, что он в годовалом возрасте был императором, ему на ум не приходит.

30 июня доставили еще одно письмо Петра. Он капризничал: комната мала и ему негде прохаживаться, а он, как известно, любит это занятие. Кроме того, караульный офицер не выходит, пока узник справляет нужду. Заканчивал это письмо он так: «Ваше Величество может быть во мне уверенною: я не подумаю

и не сделаю ничего против Вашей особы и против Вашего царствования». Нет, верить такому человеку, как Петр, Екатерина не могла. Ей надо было думать, что же делать дальше…

У нас нет никаких данных, чтобы утверждать, что Екатерина дала негласный приказ убить Петра. Но есть все основания считать, что она и не предупредила эту трагедию, хотя сделать это могла. Письма Алексея Орлова из Ропши от 2 и 6 июля 1762 года — этому свидетельства.

2 июля Орлов писал: «Матушка, милостивая государыня, здравствовать Вам мы все желаем несчетные годы. Мы теперь… благополучны. Только наш (арестант, Петр. — *Е. А.)* очень занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, **а больше опасаюсь, чтоб не ожил».** И далее Алехан поясняет, в чем опасность выздоровления бывшего императора: «Первая опасность — для того, что он все вздор говорит, и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он действительно для нас всех опасен для того, что он иногда так отзывается, хотя в прежнее состояние быть» (то есть вернуть власть).

В том-то и крылись истоки будущей трагедии: Петра охраняли те, кто был непосредственно замешан в заговоре и свержении императора — тягчайшем государственном преступлении, причем Алексей Орлов был одним из руководителей всего дела. И эти люди, естественно, были заинтересованы в том, чтобы избежать возможной суровой ответственности. Достичь этого они могли только новым преступлением — убийством бывшего императора. Екатерина не могла этого не понимать. Письмо Орлова от 2 июля, то есть еще за четыре дня до убийства, более чем откровенно, и тем не менее императрица промолчала, тюремщиков в Ропше не поменяла, оставила все как есть. Теперь о здоровье Петра. Действительно, с 30 июня он прихворнул — сказалось нервное потрясение. Но прибывшие 3 и 4 июля врачи констатировали улучшение состояния больного.

6 июля Алехан прислал императрице еще два письма. В первом говорилось: «Матушка наша, милостивая государыня. Не знаю, что теперь начать. Боюсь гнева от Вашего Величества, чтоб Вы чего на нас неистового подумать не изволили и чтоб мы не были причиною смерти злодея Вашего и всей России, также и закона нашего. А теперь и тот приставленный к нему для услуги лакей Маслов занемог, **а он** (то есть Петр. — *Е. А.)* **сам теперь так болен, что не думаю, чтоб дожил до вечера и почти совсем уже в беспамятстве,** о чем уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, чтоб он скорее с наших рук убрался. А оный же Маслов и посланный офицер может Вашему величеству донесть, в каком он состоянии теперь, ежели Вы обо мне усумниться изволите».

Дело неумолимо близится к развязке: утром вдруг «занемог» лакей Петра III Маслов, но его тем не менее привезли в Петербург, чтобы он подтвердил, как внезапно и сильно заболел его господин. Подозрительно, что Орлов — небольшой специалист по медицинской части — сам поставил «диагноз»: больной до вечера не доживет. Этот «диагноз» больше похож на приговор.

Так и случилось — около 6 часов вечера пришло знаменитое письмо Орлова, написанное пьяными слезами и невинной кровью: «Матушка,

милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не милуешь. Матушка, Его нет на свете! Но никто сего не думал и как нам задумать поднять руку на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором (Барятинским. — *Е. А.),* не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй, хоть для брата (то есть фаворита Григория. — *Е. А.)!* Повинную тебе принес и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек».

Убийство совершилось. При каких обстоятельствах — не знает никто. Неслучайно Орлов просит не назначать расследования, так как «принес повинную». Никакого расследования и не проводилось. Иначе пришлось бы как-то объяснять противоречия в двух письмах Орлова за 6 июля: в первом говорится, что Петр смертельно болен и «почти совсем уже в беспамятстве», а во втором — что этот, казалось бы, безнадежный больной как ни в чем не бывало пил со своими тюремщиками, вступил за столом в спор, а потом и в драку с Барятинским… Екатерина эти белые нитки прекрасно видела, но она мыслила уже другими категориями: ей был важен конечный результат, и она его получила — Петр был мертв, проблемы больше не существовало…

Публично было объявлено, что бывший император скончался «от геморроидальных колик». Доверчивый французский посол граф Мерси д'Аржанто описывал происшедшее в Ропше как раблезианскую историю: низложенный император был до того неумерен в еде и питье, что заболел сильнейшей резью в желудке, но продолжал пить, и необычайное количество пищи и всякого рода крепких напитков произвели воспаление, от которого он через 24 часа и скончался. Одним словом — умер от обжорства!

Ропша существует и до сих пор. Запущен и дик парк, заброшен и погибает загаженный дворец. Проклятое место преступления. Имена тех, кто его совершил и погубил свои бессмертные души, известны. Правда, Орлов пишет Екатерине: «Все до единого виноваты». На это нужно обратить внимание: мы знаем, как убили сына Петра III — императора Павла I в 1801 году. Все набросились сворой, каждый нанес удар, чтобы не было чистеньких, и какой удар стал смертельным — не знает никто.

Историки называют ропшинскую свору поименно: граф Алексей Григорьевич Орлов, князь Федор Сергеевич Барятинский — оба убийцы без сомнения; лейб-медик Карл Федорович Крузе, капрал Григорий Александрович Потемкин, Григорий Никитич Орлов, основатель русского театра Федор Григорьевич Волков… Всего 14 человек. Нет, не все! Справедливость требует прибавить еще одно имя: Екатерина II.